



С. М. ПОЛОВИНКИН

Ревностная дружба

И П. А. Флоренский, и С. Н. Булгаков принадлежали Кругу ищущих христианского просвещения (иначе — новоселовский, самаринский, корниловский кружок). Кружок был уникальным явлением русской культуры Серебряного века. В. А. Кожевников писал о председателе Круга Ф. Д. Самарине: «Из его рук мы, внуки, получили нить, связующую с славянофильством золотого века» *. Кружок хотел воплотить в себе славянофильскую «соборность», избежав привкуса имманентизма, о котором в отношении А. С. Хомякова писал Флоренский в работе «Около Хомякова» (1916). «Московская церковная дружба», как называл Кружок Флоренский, делала ударения на церковности, онтологичности единения, а не на психологической близости. Флоренский недостатком единения первых славянофилов полагал «преувеличенно важное место, которое славянофилы теоретически признали за родственной расположенностью, за дружественной близостью членов общества» **.

Еще в годы первого студенчества в «Эсхатологической мозаике» Флоренский мечтал о братстве, противодействующем антихристианским силам: «Мало-помалу из лиц, связанных узами любви и единомыслия, в связи с надвигающейся мистической грозой и усилением антихристианских — спиритических и магических — общественных течений составилось братство. Некоторые из братьев имели духовный сан» ***. Эта юношеская меч-

* Кожевников В. А. Федору Дмитриевичу Самарину († 23 октября 1916 года) от друзей. Сергиев Посад, 1917. С. 16.

** Свящ. Павел Флоренский. Около Хомякова // Свящ. Павел Флоренский. Соч. Т. 2. М., 1996. С. 314.

*** Флоренский П. А. Эсхатологическая мозаика. Ч. 2 // Контекст-91. М., 1991. С. 70.

та воплотилась для Флоренского в Кружке, о чем можно судить по письму Флоренского к В. В. Розанову от 7 июня 1913 г.: «Конечно, московская “церковная дружба” есть лучшее, что есть у нас, и в дружбе это полная coincidentia oppositorum. Все свободны, и все связаны; все по-своему, и все — “как другие” <...> Весь смысл московского движения в том, что для нас смысл жизни вовсе не в литературном запечатлении своих воззрений, а в непосредственности личных связей. Мы не пишем, а говорим, и даже не говорим, а скорее общаемся. <...> Дело другого, скажем Новоселова, Булгакова, Андреева, Цветкова и т. д. и т. д., для меня и каждого из нас — не чужое дело, не дело соперника, которое “чем хуже — тем лучше”, а мое дело, отчасти и мое. В совершенстве его заинтересованы все, как и успех относят часто и к себе. Поэтому естественно, что каждому хочется вплесть в это гнездо хоть одну и свою соломинку, исправить хоть одну ошибку в корректуре или чем-нибудь помочь. В сущности, фамилии “Новоселов”, “Флоренский”, “Булгаков” и т. п., на этих трудах надписываемые, означают не собственника, а скорее стиль, сорт, вкус работы. “Новоселов” — это значит, работа исполнена в стиле Новоселова, т. е. в стиле “строгого Православия”, немного монастырского уклада; “Булгаков” — значит, в профессорском стиле, более для внешних, апологетического значения и т. д.» *. Булгаков писал о годах «нашей общей жизни» **.

Кружок помог многим, находившимся «около церковных стен», войти не только в Церковь, но и в Алтарь. Священнический сан приняли о. Павел Флоренский, о. Сергей Булгаков, о. Александр Ельчанинов, о. Сергей Дурылин, о. Феодор Андреев, о. Сергей Мансуров, по некоторым данным М. А. Новоселов стал епископом Марком. Видными церковными деятелями были кн. Е. Н. Трубецкой, кн. С. Н. Трубецкой, Ф. Д. Самарин, А. Д. Самарин, П. Б. Мансуров, Н. С. Арсеньев, Н. Д. Кузнецов. Кружку были близки В. М. Васнецов и М. В. Нестеров.

Не под влиянием ли отчасти и опыта Кружка Флоренский писал такие разделы «Столпа», как «Дружба» (1908) и «Ревность» (1911), а Булгаков — статью «Моцарт и Сальери» (1915)?

Конечно, каждый член Кружка имел свой опыт дружбы, который он привнес в Кружок. Однако самым ярким был опыт

* *Игумен Андроник (Трубачев)*. Священник Павел Флоренский — профессор Московской Духовной академии и редактор «Богословского вестника» // Богословские труды. Сб. 28. М., 1987. С. 304.

** *Свящ. Сергей Булгаков*. Священник о. Павел Флоренский // П. А. Флоренский: pro et contra. СПб., 1996. С. 396.

Флоренского. У Флоренского еще в гимназии был опыт «ревностной дружбы» с А. В. Ельчаниновым, который описан Флоренским в его воспоминаниях *. Это была, в понимании Флоренского, не просто личная душевная приязнь, но «дружба в физике»: «Я хотел рассматривать и Ельчанинова и себя самого как приложение к физике, а наши с ним отношения — как служебные ей» **. «Талантливая рецептивность и душевная подвижность» *** Ельчанинова позволила ему подойти со вниманием к физическим занятиям Флоренского и к нему самому. Для Флоренского эта дружба была единственной связью с миром. Однако, в конце концов, талантливая, но «метафизически непостоянная», дружба Ельчанинова переключилась на другие предметы и на других лиц. Для Флоренского это было потерей связи с миром. Бывшие друзья перестали даже замечать друг друга. О своей дружбе с Флоренским писал и Ельчанинов: «У него масса нежности, привязчивости, любви. Я никогда не видел, чтобы он охладевал к людям первый, чтобы он тяготился близким человеком, искал перемены, свободы. Если он полюбит кого-нибудь, то все отдает для этой дружбы, он хочет вовлечь своего друга во все подробности своей жизни, и в его жизненные интересы входит всей душой; он оставит свои дела, своих знакомых, срочные занятия, если его время нужно (или ему кажется, что нужно) другу. С Васенькой он ест из одной чашки и ни за что не сядет обедать без него, хотя бы тот не пришел бы до вечера, ездит разговаривать с его доктором, помогает ему писать реферат, вообще не дает ему “ни отдыху, ни сроку”. (Таковой и должна быть настоящая дружба, но только при полной взаимности; иначе она — невыносимая тяжесть, я знаю это по себе.)» ****. В записи января 1910 г. Ельчанинов приводит слова Флоренского: «Я хочу настоящей любви; я понимаю жизнь только вместе; без “вместе” я не хочу и спасения; я не бунтую, не протестую, а просто не имею вкуса ни к жизни, ни к спасению своей души — пока я один» *****. 31 января 1910 г. Ельчанинов записал слова Флоренского, который объяснил ему истоки своей тоски: «Главная ее причина <...> — желание настоящего, полного общения, как

* См.: *Свящ. Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней...* М., 1992. С. 201—207.

** Там же. С. 202.

*** Там же. С. 201.

**** *Ельчанинов А. В. Из встреч с П. А. Флоренским (1909—1910)* // *Вестник РХД*. 1984. 142. С. 72.

***** Там же. С. 73.

гарантии церковной жизни. Я нигде не нахожу этого общения: все только бумажки, и ни разу — золота» *. Лишь в Кружке Флоренский обрел искомую полноту «церковной дружбы». Уже в эмиграции и Ельчанинов искал «полноты общения», однако осознал утопичность этих поисков: «Дружба. Из наблюдений в нашем кружке. Дружба, на которую я надеялся, не получилась. Это была утопия. Каждый из нас заражен таким количеством самолюбия, вздорных пустяков, раздражительности, неумения простить своему ближнему ни малейшего пустяка (себе прощаем все!), что о сближении думать не приходится. И это как раз в то время, когда люди жаждут дружбы, знают отчетливо ее великую целительную силу, когда погибаешь в одиночестве. И все-таки предпочитают погибать в аду своей самости, нежели поступиться малейшим пустяком» **. Видя все подводные камни, Флоренский пытался сохранить Дружбу до и за пределами возможного.

Другом с большой буквы стал для Флоренского Сергей Семенович Троицкий, который вместе с Флоренским учился в МДА. Ему посвящены письма «Столпа». Их дружба была и церковной, и ревностной. Накал дружеских чувств был чрезвычайно высок. О весне 1905 г. Флоренский вспоминал: «Тогда все мысли мои были в Троицком, Сергее Семеновиче, я ни о чем и ни о ком не мог ни говорить, ни думать» ***. Коснулась этой Дружбы и простая человеческая ревность. Когда Троицкий женился на сестре Флоренского Ольге, то последний возревновал и обвинил Троицкого в измене Дружбе (указано игуменом Андроником (Трубачевым)). Троицкий трагически погиб в 1910 г., и Другом Флоренского стал студент МДА Василий Михайлович Гиацинтов, на сестре которого Анне женился Флоренский.

Флоренский понимает дружбу онтологически: дружба — это «созерцание себя через Друга в Боге» ****. Дружба «составляет последнее слово собственно-человеческой стихии церковности» *****. Структура любой братской общины — дружественная: предел дробления общины — не «человеческий атом», но «общинная молекула» — «пара друзей» ^{6*}. Среди апостолов была дружба по-двое. Дружба обладает и гносеологическим статусом:

* Там же. С. 76.

** Там же. С. 103.

*** *Свящ. Павел Флоренский. Детям моим...* М., 1992. С. 300—301.

**** *Свящ. Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины.* М., 1914; М., 1990. С. 438.

***** Там же. С. 443.

^{6*} Там же. С. 419.

«Мистическое единство двух есть условие ведения и, значит, — явления, дающего это ведение Духа Истины» *. «Приятие в душу дружественного Я сливает во-едино два отдельных потока жизни» **. Однако, слившись, эти потоки со-существуют и нераздельно. «Нераздельность — неслиянность» есть антиномия дружбы. Антиномия личности и двоицы, Я и «пары друзей» состоит в том, что «Друг — это Я, которое не-Я» ***.

Дружба чревата ревностью. Ревность в понимании Флоренского — понятие не психологическое и не этическое, но онтологическое. Ревность — не порок, а «есть сама любовь, но в своем “инобытии”» ****. В ревности осуществляется и сохраняется стремление к «Столпу и утверждению Истины», стремление к Церкви. Ревность-рвение обнаруживает силу, мощь, стремительность. Желаящий уничтожить ревность уничтожил бы и любовь. В дружбе Я и Ты, когда Ты перестает быть Ты, то Я оказывает противодействие этому и снова пытается сделать его Ты. Когда Ты показывает, что для него мое Я не есть уже единственное и неповторимое Я, а мое Я для Ты есть один из многих, то Я пытается снова утвердить единственность Ты в его единственном отношении к единственному Я. Природа любви личностная, ревность есть ревностное утверждение «вечного акта избрания любимого» ***** во всей его неповторимой единичности. Сознание единственности любимого — условие ревностной любви. Эта онтологическая ревность может проявляться и в психологическом виде, при этом она может стать слепой и несправедливой. Ревностной любовью владеют антиномические стремления: стремление к взаимному вращению, срастворению друг в друге — стремление сохранить свою неразстворимую индивидуальность. Эти неразстворенные, а некоторые из них и неразстворимые, части способны вызывать по-человечески ревнивое, чреватое несправедливостью, отношение. Эти неразстворенные части могут заключать в себе отношения с Другим и Другими.

Такому пониманию дружбы и ревности у Флоренского вторит и Булгаков в статье «Моцарт и Сальери» (1915). И он полагает, что существо дружбы «не в психологии ее, но в онтологии»^{6*}. Дружбу он определяет как «выход из себя в другого (друга) и об-

* Там же. С. 430.

** Там же. С. 433.

*** Там же. С. 439.

**** Там же. С. 469.

***** Там же. С. 472.

^{6*} Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 47.

речение себя в нем», «преодоление ограниченности самоотречением» *. Образ человеческой дружбы коренится в Божественном Пробразе: «Человеческая дружба есть как бы естественная икона, образ единой, божественной дружбы» **. Особое внимание Булгаков обращает на возможность обретения в друге своей собственной гениальности: «Моцарт есть то высшее художественное “я” Сальери, в свете которого он судит и ценит самого себя» ***. В результате: «Не Моцарта, но себя отравил тогда Сальери» ****. Говорит Булгаков и об антиномии двуединства и двуипостасности дружбы *****. Есть у него и «ревность», которую, вслед за Пушкиным, он называет «зависть», приводя слова Пушкина: «Зависть — сестра соревнования, стало быть, хорошего роду». Но есть и «темная зависть», прообразом которой была зависть Иуды ко Христу.

В. Ф. Эрн, близкий и Флоренскому, и Булгакову, наблюдая проявления «темной ревности» в своем окружении, писал: «В ревности нашей (не Божьей) всегда слабость — всегда она от бессилия. Хочется быть всем для “нее” — или для “него”, а быть всем не можешь. И вот тут начинаются муки от бессилия с одной стороны в самых разных видах, от чуть заметного сжатия сердца до перебоев сердечных — и всяческая тирания с другой — от мелких “деспотических” жестокостей словесных и до столько же мелких деспотических запретительных действий» ^{6*}. Эрн полагал, что в ревности лишь первый импульс имеет идеальную, сверх-эмпирическую, божественную природу. Человеческая же ревность ограничена, а потому и уродливо деспотична (страдает «набобством»). Среди безоблачных, по видимости, отношений Булгакова и Флоренского, как об этом можно судить по дошедшим до нас источникам, как гром среди ясного неба грянула запись в «Ялтинском дневнике» Булгакова от 5(18) мая 1922 г.: «Часто я думаю последние дни об о. Павле и с болью и страхом говорю себе, что, конечно, и он будет не со мною, хотя в то же время я чувствую и понимаю, что он должен быть со мною. Я так ничтожен и бессилен перед ним, так перед ним склоняюсь и падаю, что я, конечно, не мог бы вблизи его проходить свой путь. Я от него получал бы бесконечно много идей и импульсов, как это

* Там же. С. 47.

** Там же. С. 48.

*** Там же. С. 49.

**** Там же. С. 51.

***** Там же. С. 47.

^{6*} Взыскующие града / Сост. В. И. Кейдан. М., 1997. С. 711.

и было, и из всех сил старался бы, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, — подражать ему. Теперь на расстоянии места и времени, я, кажется, больше различаю его и себя. Он, конечно, единственный, он — чудо человеческого ума и гения, — он это знает сам о себе, и это, освобождая его от всего мелочного и суетного, дает ему силу и сознание своей человеческой свободы. Он есть на самом деле *Übermensch*, но вместе с тем и христианин, — святой. Но сила его не в его святости, не в подчинении низших сил высшим, — иначе — не мог бы быть такого калибра духовного человек, но в его железном уме и жажде познания — беспредельной... О. Павел слишком сам, иногда он изнемогает от этого богатства своего, которое не становится для него самостью, но мешает его детской непосредственности. Он ни в чем не наивен и не детск, у него все опосредовано, прошло через сознание и волю, и в этом смысле сделано, стилизовано. Странно, но он для меня перестал быть церковным авторитетом, хотя я по-прежнему, не меньше прежнего знаю его единственность, он для меня не непогрешим в вопросах церковного сознания, как я в сущности его считал. И “Столп и утверждение Истины”, как я теперь ясно вижу, сделан и, действительно, ведь, прав Бердяев, не злобным и мелочным, завистливым тоном, но по существу — есть стилизация православия. Я помню, о. Павел когда-то мне писал, что он имеет свою идею православия и, действительно, в этой книге есть его собственное православие, его мысли о нем. И его православие — с такой безнадежностью в смысле нерастворенности и, кажется, нерастворимости оккультизма, неоплатонизма, гностицизма, не есть историческое православие, не есть и церковное православие. Его личная, человеческая сила, уверенность сознающей себя силы отнюдь не есть еще церковная сила, как мне наивно все время казалось. О. Павел — загадка из загадок, и для себя он загадка, м. б., это самый интересный, значительный из людей, когда-либо бывших, п. ч. в нем пересекается лабиринт ходов, его совет и суждение единственны и все-таки это не голос церкви, это — роковым образом свое, мудрость рядом с чудачеством, свой произвол. Я, разумеется, верю в его дружбу, он меня не оставит, ибо он верен, он так благороден, что не м.б. не верным, но он любит меня своим произволом, причем, конечно, не может не третировать, я это и вижу. Ну разве же я ему ровня, как мой слабый Сережка не товарищ его умного Васи, но который имеет право на существование, и каждый сам по себе. О. Павел, написавший гениально о дружбе и с распаленной ее жаждой, в сущности, всегда один, как Эльбрус с снеговой вершиной, никого не видит около себя, наравне с собою. И его при-

вязанности, “друзья” (характерно для роковой для него «стилизации», что ведь и «письма к другу» тоже литературная фикция, ибо друга-то не существует, и правы те наивные, которые все разгадывали и спрашивали, кто же друг, п. ч. для простого человеческого чувства здесь стилизация недопустима и невозможна, а между тем она была) суть избрание иррационального произвола, почему так непонятны и удивляли: “Васенька” Гиацинтов! Я никогда не занимал такого места, скорее я своим робким отношением вынудил или вымолил ответную дружбу, всегда великодушную и щедрую, но отнюдь не страстную и не единственную. Да, все волевые акты избрания, озолачивания собою, своими лучами, зеркала я: и еп. Антоний, и Анна Мих., и старец Исидор, и... “православие” (именно в кавычках, т. е. «Столпа»), и даже моя малость и это “стилизация” роковая, безысходная, от силы, от богатства... б. м., люциферовского, дьяволического (в неоплатоническом смысле), от которого не дано освободиться. Около него я был бы задавлен, и мое глупое, но непосредственное и в этом смысле более подлинное церковное чувство молчало бы... Поэтому, мне кажется, я понимаю, почему я удален и отлучен от него*.

Если последовать предположению И. Б. Роднянской о том, что в статье «Моцарт и Сальери» Булгаков под Моцартом подразумевал Флоренского, а под Сальери — себя, то можно узреть в этом тексте акт «уничтожения» Флоренского-Моцарта Булгаковым-Сальери**. Но, может быть, не стоит превращать в трагедию эту ситуацию и прислушаться к словам Е. К. Герцык в письме к В. Ф. Эрну от 14 марта 1912 г.: «Я полюбила С<ергея> Н<иколаевича> и как-то уже раз и навсегда приняла все эти его ослепления, несправедливости, пристрастия, которые, по-моему, составляют сущность его души, именно благодаря или несмотря на его “семинарщину”, утонченной, нервной»***.

Этот «пристрастный» монолог Булгакова отчасти вызван и чисто человеческой ревностью к Другу Флоренского тех лет Василию Михайловичу Гиацинтову и даже к сыну Флоренского, «умному» Васе, в сравнении со своим «слабым» Сережей. Но главное, что тревожит Булгакова во Флоренском, это, как ему представлялось, подтачивание Флоренским основы «церковной дружбы» — Православия. Флоренский, якобы, вместо исторического

* Прот. Сергей Булгаков. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. Орел, 1998. С. 105—107.

** См.: Роднянская И. Б. С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский: к философии дружбы // Новая Европа. 1994. 4.

*** Взыскующие града. С. 447.

и церковного Православия выработал идею собственного стилизованного православия. В связи с этим в полной мере обнажается антиномия их дружбы. Булгаков чувствует опасность при нераздельности друзей быть вовлеченным в «стилизацию» Флоренского и, шире, потерять самостоятельное творческое лицо. Необходимо неслиянность, которой Булгаков тоже боится. Вынужденную отделенность от Флоренского Булгаков трактует как глас судьбы, призывающий его искать свой путь.

Этот путь, неслиянный с путем Флоренского, Булгаков прежде всего нашел в увлечении католичеством, вплоть до достаточно созревшего желания перейти в католичество. В пространном письме к Флоренскому от 17 августа — 1 сентября 1922 г. Булгаков убеждает друга перейти в католичество вместе с ним. Возможно, что именно нераздельность друзей удержала Булгакова сделать последний шаг без Флоренского: «Во всяком случае один, без Тебя, я перед Богом и перед своим сердцем не могу сказать последнего слова». Вросшее в Я Булгакова Ты Флоренского не пустило его в католичество. Да и странно звучит в устах Булгакова забота о чистоте Православия у Флоренского в то время, когда он сам поносил Православие и собирался перейти в католичество.

Критикуя Флоренского, Булгаков, в силу дружеской нераздельности, критикует самого себя, срастворенную с Флоренским часть самого себя. Ведь и Булгаков далек от детской непосредственности. И у него все опосредовано, все прошло «через сознание и волю». Булгаков называет эту опосредованность «сделанностью», «стилизацией». Однако представляется, что деланная детскость и непосредственность у зрелого мужа, издавшего десяток книг и сотню статей, была бы непереносимой стилизацией.

Но так ли уж плоха стилизация сама по себе, что может служить «убийственной» характеристикой религиозного мыслителя? М. М. Бахтин полагает характерным для стилизации то, что «слово здесь имеет двоякое направление — и на предмет речи как обычное слово, и на другое слово, на чужую речь» *.

Стилизация предполагает существование воспроизводимого стиля, который когда-то имел «прямую и непосредственную осмысленность» **. Какой же стиль пытался воспроизвести Флоренский? Он сам не делал из этого тайны: «Свое собственное мировоззрение Ф[лоренский] считает соответствующим по складу

* Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М., 1972. С. 316.

** Там же. С. 323—324.

стилю XIV—XV вв. русского средневековья, но предвидит и желает другие построения, соответствующие более глубокому возврату к средневековью» *. Мы не беремся обсуждать здесь сложную проблему: осуществил ли Флоренский в своих трудах стилизацию именно такого типа. По всей видимости, не вполне, хотя бы потому, что его сочинения насыщены и «прямыми словами» (термин Бахтина). Не является ли выступление Булгакова против «стилизации» у Флоренского (вслед за Бердяевым) выступлением против стилизаторских поползновений у самого себя (хотя бы в книге «Свет невечерний» (М., 1917), написанной не без влияния Флоренского)?

Булгаков в качестве примеров стилизации жизни приводит отношения Флоренского с Другом «Васенькой», с женой Анной Михайловной, со старцем Исидором и с еп. Антонием (Флоренсовым). Отношения к друзьям и Другу у Флоренского были настолько непосредственно направлены на предмет дружбы, а не на какие-то придуманные или заимствованные приемы общения, что они зачастую переходили в особого рода влюбленность. Что означает стилизация отношений в семье, где пятеро детей, трудно и представить. Судить о стилизации отношений со старцем Исидором и духовником Флоренского — еп. Антонием — просто невозможно. Тайна духовного общения велика есть. Можно обсуждать меру стилизации жития старца Исидора («Соль земли...», 1908), но ведь существуют стили житийной литературы.

Самое серьезное обвинение состоит в том, что идея православия Флоренского — это «его собственное православие», отличное от исторического церковного православия. Причина этого — нерастворенность и нерастворимость в нем «окультизма, неоплатонизма, гностицизма». Следует сказать, что внимание к мистическому опыту любого происхождения и у Флоренского, и у Булгакова было общим. Чисто формально, отсылка к Плотину и гностикам несравненно больше у Булгакова, чем у Флоренского. По существу же, среди задач журнала «Богословский вестник» Флоренский ставил борьбу с «антихристианской мистикой» и масонством**. По всей видимости, эти пункты программы «Богословского вестника» разделял и Булгаков. Примеров их исполнения в трудах и Флоренского и Булгакова можно найти множество. Вероятно, и интерес к подозрительной мистике существовал во исполнение этой программы. В случае же с А. Н. Шмидт именно Флоренский умерял чрезмерное увлечение ею Булгакова, и, в

* *Свящ. Павел Флоренский*. Соч. Т. 1. М., 1994. С. 39.

** *Игумен Андроник (Трубачев)*. Указ. соч. С. 302.

результате переписки, Булгаков пришел к более трезвой оценке Шмидт. Таким образом, обвиняя Флоренского, боролся с собственными соблазнами. Свои недостатки в другом (друге) видны отчетливее, чем в себе самом.

Чрезвычайно высокие требования к дружбе были и у других членов Кружка, а это было чревато срывами. «Общее дело» не могло заменить любви. Все хотели любви прежде всего. Малейшее подозрение в ее неподлинности рождало ревность. Характерно письмо В. Ф. Эрн к А. С. Глинке-Волжскому: «С Булгаковым у нас как-то охладели отношения. Я почувствовал определенно по многим его письмам и поступкам, что он связан со мною делом, а не любовью. Это для меня большое разочарование и главное какое-то непоправимое, ибо не-любовь трудно изгладима, и я думаю, уничтожив всякие внешние недоразумения, не сможет ничего переменить во внутреннем. Это заставляет меня настаивать на том, чтобы вы не поехали в Москву относиться без энтузиазма...» *.

Пароксизмы ревности сменялись раскаянием. В записной книжке Булгакова в записи от 16 (29) июля 1930 г. можно прочесть: «Согрешил я перед дружбою, не был ее достоин в путях своих...» **. По всей видимости, именно в это время Булгаков писал свою статью «Иуда Искариот апостол-предатель» ***. Здесь отношения Иуды ко Христу оцениваются уже не как «темная ревность», но как «ревностная любовь»: «Нет, он ревнует и о Нем самом, об Учителе. Любовь ревнующая стремится, чтобы любимый раскрыл себя, явил себя в истине, силе и славе своей. Любовь ревнующая хочет осуществить здесь то, что начертано в небесах. Однако, это лишь в том случае, если любовь ревнующая воистину зрит этот первообраз. А если нет? Если она свою собственную грезу принимает за эту истину и по ней хочет мерить любимого? Если она хочет извратить его по своему собственному образу, совершая насилие над его свободой, над самим его существом? Тогда любовь ревнующая превращается в деспотическое насилие, которое или разрушает свой объект, или само должно упраздниться. <...> Он не понимал своего Учителя, но при этом не только не сознавал своего непонимания, но искренно хотел изменить Его путь, исправить Его мысли и действия» ****. Возможно, в этих словах сквозит осознание Булгаковым того, что по

* Взыскующие града. С. 521.

** *Прот. Сергей Булгаков. Автобиографические заметки... С. 296.*

*** *Прот. Сергей Булгаков. Иуда Искариот, апостол-предатель // Путь. 1931. № 26—27.*

**** Там же. № 26. С. 23—24.

отношению к Флоренскому он пытался «извратить его по собственному своему образу», «изменить его путь», а когда это не получилось, то слишком строго судил его. Выплеснувшаяся наружу ревность была поглощена неизменной дружбой. Это подтверждает публикуемая переписка и, особенно, слово «Священник о. Павел Флоренский», прочитанное 11 апреля 1943 г. в Парижском Православном Богословском институте.

